

КОЛОКОЛ



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Колокол

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Колокол / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Эли Кестер тридцать девять лет живёт отшельником на северном мысу — единственный на свете человек, слышащий костью за ухом, как из-за края неба кто-то ровно, терпеливо звонит в геомагнитный «колокол» Земли. Промежутки между ударами убывают геометрически, киты выбрасываются на берег, компасы врут, а его брат-близнец Иона — научный директор Консорциума космической погоды — успокаивает мир с экранов: «наука считает». Однажды в тишину лоцманской избы врывается звонок пятнадцатилетней племянницы Мии: у неё в груди кардиостимулятор, и она тоже слышит. Чтобы услышать друг друга и остановить колокол, троим Кестерам придётся впервые за двенадцать лет собраться под одной крышей.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Тот, кто затыкает уши	6
Часть вторая. Набат	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Колокол

Поле нельзя увидеть. В него можно только вслушаться — и только если сам замолчишь.
— И. Кестер, из отозванной монографии

Часть первая. Тот, кто затыкает уши

За секунду до удара воздух натягивался, как кожа на барабане.

Я знал это раньше приборов, раньше птиц, раньше собственных мыслей — знал костью за левым ухом, тем тонким гребнем черепа, который у всех людей просто кость, а у меня всю жизнь был камертоном. Мир набирал в грудь. Замирал так, что делалось слышно, как далеко на воде скрипит ключичина. И бил.

Не гром. Гром приходит снаружи и уходит наружу, честный, как удар кулаком. Это входило в меня целиком — легло чужой ладонью на затылок, надавило, и в зубах проступил вкус старой медной монеты, и волоски на руках встали дыбом от запястий к плечам. Я стоял на склоне над водой, держал ведро с золой, и удар прошёл сквозь меня от темени к пяткам, будто через камертон, воткнутый в землю по самую ножку. Ведро я не выронил. За двенадцать лет на мысу я научился при ударе не ронять ведро, не прикусывать язык и не падать на колени — три маленьких умения, которых нет в человеке, пока небо не научит.

Внизу, у самой кромки, овцы Тормода сбились в один белый ком и разом, все двадцать, повернули морды на юг — за воду, туда, где ещё не встало солнце и где над горизонтом ничего не было. Не к затишью. Не от ветра. К чему-то за краем мира, чего там не могло быть. Старый пёс сел на хвост и завыл — тонко, ровно, на одной ноте, будто подпевал тому, что слышал только он да я. С обрыва, тяжело, боком, сорвалась чайка — не полетела, а именно сорвалась, потеряв на миг ту невидимую нить, по которой птицы всю жизнь читают, где верх, где низ, где дом, — выправились над самой водой и пошла прочь низко и неуверенно, как пьяная.

Я вынул из кармана коробок спичек — не для огня, просто чтобы занять руки чем-то, что само не дрожит, — и стал считать. Не секунды; между ударами секунды не в помощь. Я считал свои вдохи, потому что собственное дыхание знал до сотой доли и мог мерить им время вернее любых часов.

Прошлый удар был позавчера, тоже на рассвете. Тот, что до него, — за четыре дня. А ещё раньше их не было вовсе; были обычные бури — рваные, злые, приходящие с солнца как пощёчина и уходящие в никуда, их я знал с детства и научился переживать, как переживают зубную боль. Эти приходили иначе. Мерно. Терпеливо. Как будто кто-то очень спокойный стучал в очень далёкую дверь и точно знал, что рано или поздно откроют.

И промежуток стал короче. Я чувствовал это так же ясно, как чувствуешь ногой, что ступенька не там, где её ждал. Между позавчера и сегодня легло меньше, чем между тем, давним, и позавчера. Ненамного. Но лестница была не там, и нога это знала.

Овцы всё стояли мордами на юг. Пёс выл. Послезвучие удара ещё гуляло у меня в кости — долгое, гаснущее кругами, как расходится по чёрной воде круг от брошенного камня, только камень бросили не в воду, а в меня. Я смотрел на юг вместе с чужими овцами и, кажется, впервые за много лет хотел не заткнуть этот звук, а разобрать в нём слово.

— Рано, — сказал я вслух, неизвестно кому. Собственный голос показался мне слишком громким и слишком одиноким. — Ты сегодня рано.

Ответа не было. Ответа никогда не было. В этом и состояла вся моя жизнь: я один на свете слышал, что нам звонят, и один на свете знал, что звонящему совершенно всё равно, слышу я его или нет.



Дом я выбрал за тишину, а тишины на свете нет.

Это первое, что понимает человек вроде меня, и понимает раз навсегда: выключить нельзя ничего. Можно только отойти подальше и обложиться толщей — камнем, водой, расстоянием, пустотой. Поэтому я и жил на мысу, в старой лоцманской избе, куда электричество тянули последний раз ещё при другом государстве, а провода давно срезали на металл охот-

ники за цветным. Ни линии в полукилометре. Ни вышки за тремя холмами. Ближайший трансформатор гудел так далеко, что его ноту я ловил, только когда ложился щекой на землю, — и не ложился. Дизель в сарае запускал лишь тогда, когда нужно было паять, и перед тем затыкал уши воском, как тот гребец у Гомера, которого я всегда понимал лучше, чем героя: не слушать пение — вот всё, чего он хотел, вот всё, чего хотел я.

Я чинил радиоприёмники. Смешно, если вслушаться: единственный на сто вёрст человек, который не выносит эфира, чинил посёлку его окошки в мир. Но руки у меня были хорошие — руки, а не голова, голова годилась только слушать, — и других мастеров на побережье не осталось. Рыбаки везли мне свои хрипящие ящики, свои эхолоты и рации, я поил их чаем, брал деньги или рыбой и возвращал им голоса. За это меня терпели. Терпели, но в гости не звали, и держались на полшага дальше, чем от обычного человека, — так держатся от собаки, которая не кусается, но смотрит, будто понимает больше, чем пёс имеет право понимать. Меня это устраивало. Устраивало нас обоих.

В то утро на верстаке лежала рация с сейнера — старуха, ровесница избе, с лампами, что нагревались медленно и тёпло, как ладони над углями. Я включил её тихо, на четверть громкости, обмотав динамик тряпкой, и повёл по шкале. Треск. Обрывок молитвы на языке, которого не знал. Снова треск. Рыбацкая переключка о косяке, ушедшем не туда, куда он уходил тридцать лет. «Компас врёт, — говорил кто-то устало, без удивления, как о дожде. — Третий день кружит. Идём по солнцу, как деды». Потом далёкая станция, женский голос, ночные новости для тех, кто не спит: где-то на южном берегу за одну ночь выбросилось на песок стадо китов, шестьдесят голов, и никто не знал почему; где-то не спали третью неделю целыми городами, и аптеки остались без снотворного; где-то птицы весной полетели на зимовку, на север, в лёд, и падали над морем, и никто не знал почему. «Учёные, — сказал женский голос, — связывают это с необычно высокой солнечной активностью». Все они всё связывали с солнцем. Солнце было далёкое, привычное и ни в чём не виноватое — на него удобно было списать.

А потом сквозь треск проступил голос, который я узнал бы из миллиона, потому что это был почти мой собственный голос — тот, каким я мог бы говорить, если бы жизнь сложилась ровно, если бы я умел спать по ночам и смотреть людям в глаза.

— ...оснований для тревоги нет, — говорил он мягко, ровно, с той выделанной дикторской теплотой, которой у нас в роду не было ни у кого, пока он не отрастил её себе сам, как отращивают под тонкую работу нужный ноготь. — Мы наблюдаем аномально высокую, но вполне объяснимую солнечную активность. Магнитосфера Земли переживала подобное миллионы лет и переживёт снова. Приборы Консорциума ведут наблюдение круглосуточно. Я понимаю тревогу людей. Но наука не паникует. Наука считает.

«Наука считает». Он всегда так говорил. Ещё мальчишкой, когда мы дрались на чердаке до крови из носа, до вывернутых пальцев, он в конце садился, вытирал юшку тылом ладони и говорил ровно: садись, посчитаем, кто был прав. И оказывался прав — потому что считать он умел лучше, а я умел только чувствовать, а чувство к делу не пришьёшь, чувство — не довод, чувство суд не примет. Так я и рос: с правдой, которую нельзя доказать, рядом с братом, который умел доказать что угодно.

Диктор назвал его в конце: доктор Иона Кестер, научный директор направления космической погоды. Мой брат. Моё лицо — вымытое, выпавшееся, уверенное, — на другом конце страны, в студии под тёплыми софитами, объясняло рыбакам с моего побережья, что их компасы врут от солнца, а киты гибнут от солнца, а бессонница у их детей — тоже, конечно, от солнца.

Я протянул руку и выключил рацию. В избе стало тихо — той неполной, обманной тишиной, что мне одна отпущена на свете, где на самом дне всегда звенит поле, ровно, тонко, как звенит в ушах у всех вас после слишком громкого концерта; только у вас концерт кончается, а у меня — нет, у меня он не кончался ни разу за тридцать девять лет.

Я сидел в этой своей домашней немоте, слушал её и думал, что мне тридцать девять, что за окном гаснет короткий северный день, и что на всём свете нет ни одного человека, с которым стоило бы говорить о том, что дверь, в которую стучат, — это не солнце.

Тогда я ещё не знал, что такой человек уже набирает мой номер.



Телефон у меня был один — чёрный, дисковый, тяжёлый, на длинном шнуре, привинченный к стене у двери. Провод к нему я закопал сам, своими руками, чтоб не висел на столбах и не пел мне по ночам, и это была последняя ниточка, которой я держался за людей. Звонил он редко, от силы раз в месяц. Тормод — про рацию. Почта — про посылку. Кто-нибудь ошибётся номером и обругает меня за то, что я — не тот, кто ему нужен.

В тот вечер он зазвонил, когда я растапливал печь, и я снял трубку рукой, пахнувшей торфом и канифолью.

— Кестер, — сказал я.

Молчание. Но не пустое — я слышал в нём чужое дыхание, частое, молодое, и за дыханием далёкий город: шорох шин по мокрому асфальту, чей-то смех в глубине квартиры, вся эта гладкая, тёплая, электрическая жизнь, из которой я когда-то вышел и в которую поклялся не возвращаться.

— Ты дядя Эли? — Голос девчоночий, ломкий, храбрящийся из последних сил. — Который живёт на севере. Один.

Что-то в груди у меня сдвинулось и встало не на место — как та ступенька.

— Кто это?

— Мия. — Пауза, будто имя должно было всё объяснить. И оно объяснило. — Я дочка Ионы. Твоя... ну. Племянница. Мне пятнадцать. — Она набрала воздуха, как перед прыжком в холодную воду. — Мне бабушка Ида дала твой номер. Сказала: если начнётся — звони не в скорую, звони Эли.

Ида. Мать. Двенадцать лет я не слышал этого имени вслух и сам не произносил его даже про себя — вырезал, как вырезают гнилое, чтобы не пошло дальше. А тут его сказал ребёнок, которого я видел один-единственный раз в жизни: спелёнутым свёртком на руках у Ионы, в тот самый день, когда всё между нами сломалось окончательно и, как мне казалось, навсегда.

— Что начнётся, — сказал я. Не спросил. Я уже знал.

— Оно. — Голос упал до шёпота, будто она боялась, что услышат за стеной. — У меня в груди коробочка. Стимулятор. Держит мне сердце — я родилась с неправильным, оно само сбивается с такта. И вот уже недели две... оно бьёт. Не сердце. Что-то снаружи. И за секунду до того, как коробочка запищит и меня тряхнёт разрядом, я уже знаю, что сейчас. Чувствую, как оно подходит издалека. Как будто весь воздух вокруг... — она искала слово, и я ждал его, я знал, какое это слово, — ...натягивается. Как кожа. Ты понимаешь, да? Скажи, что понимаешь.

Спичка, которую я так и держал, догорела до пальцев и обожгла их, а я заметил это, только когда она погасла.

— Папа говорит, у меня тревожность, — заторопилась она в моё молчание, и голос её зазвенел тонко, обиженно. — Врачи говорят — редкие помехи, бывает, ничего страшного, живите. Все смотрят так, будто я сама себе это выдумываю от страха. А бабушка одна сказала: ты не выдумываешь. Позвони Эли. Он тоже так слышит. Он единственный на свете не решит, что ты сумасшедшая. — Она перевела дух, и вся её храбрость вдруг кончилась разом. — Ты ведь тоже это слышишь. Дядя Эли. Скажи. Пожалуйста.

За окном, над чёрной водой, дрожало и переливалось сияние — не в срок, слишком южное, слишком яркое, зелёное с прожилками цвета венозной крови. Оно было красивое той красотой, от которой пусто и страшно, как бывает страшно от слишком высокого потолка в пустом храме.

— Слышу, — сказал я.

Первое честное, ничем не оплаченное «да» за двенадцать лет. Я и не помнил уже, что горло умеет произносить такие слова — короткие, без оговорок, без брони.

И в трубке она заплакала. Не от горя — от того облегчения, от которого плачут навзрыд, когда после долгой темноты вдруг оказывается, что рядом всё-таки кто-то есть, что ты всё это время была не одна.



После её звонка я не спал — да я и так спал редко, но в ту ночь не сомкнул глаз вовсе.

Достал с полки старый вахтенный журнал в клеёнчатой обложке — толстую тетрадь, куда полвека назад лоцманы вписывали приход и уход судов ровным писарским почерком, — и на пустых страницах в конце стал восстанавливать по памяти всё. Каждый удар за последний месяц. Час. Минуту, насколько мог. Память у меня на это цепкая, злая; тело помнит каждый удар, как спина помнит каждый ремень. Я выписал их столбиком, один под другим, и против каждого — сколько прошло от предыдущего.

Четырнадцать суток. Девять. Девять. Шесть. Четыре. Четыре. Двое с небольшим.

Я сидел над этим столбиком при свече — керосин я тоже не жёг лишний раз, свеча тише, — и рука моя была не так тверда, как утром с ведром золы. Потому что числа не просто убывали. Они убывали правильно. Не как выдыхается буря — рвано, судорожно, через силу, — а как убывает расстояние до того, кто идёт к тебе ровным, нестрашным, прогулочным шагом и вовсе не намерен останавливаться у порога. Каждый промежуток выходил примерно во столько же раз короче предыдущего. Я поделил на пальцах, потом на полях, чтоб не верить пальцам. Около двух третей. Раз за разом, упрямо. Две трети. Две трети. Две трети.

Такую кривую нам когда-то рисовала мать. Не на бумаге — бумагу она не любила, говорила, что бумага врёт гладкостью. Она рассыпала по кухонному столу горсть чечевицы и складывала из зёрен ряд: смотрите, мальчики, вот ряд, который всё быстрее падает к своему пределу — каждый шаг вдвое, втрое короче прошлого — и всё-таки никогда предела не переходит; а вся его бесконечная сумма помещается вот в эту ладонь. Иона тогда понял сразу и загордился, ему было девять, и он уже любил всё, что можно взять и сосчитать до конца. Я не понимал ничего — я смотрел на чечевицу и слушал материн голос, тёплый над столом, и это было куда важнее любого предела. Тридцать лет прошло. И вот на моём столе тот же самый ряд был выложен снова — только не чечевицей, а ударами по живому: по китам, по птицам, по спящим городам, по маленькому неправильному сердцу под чужой ключицей.

У ряда был предел. Я не Иона, я не умел вычислить его столбиком, взять и назвать день и час. Но я умел другое, чему нельзя научить, — я умел слышать, куда ведёт нота, ещё прежде, чем она дозвучит до конца. И эта вела не в бесконечность, не в туман, где всё как-нибудь обойдётся. Она вела в одну точку. В день, когда промежутки сожмутся до нуля, удары сольются в один сплошной звон, и терпеливый стук в дверь станет наконец не стуком — а тем коротким, страшным треском, что бывает, когда дверь перестают просить открыть и просто вышибают с ноги.

Я закрыл журнал и задул свечу. За стеной, в темноте, ровно, на одной длинной ноте, был на сияние старый пёс Тормода, прибившийся к моему теплу. И я поймал себя на том, что подвываю ему в ответ — беззвучно, одними костями черепа, нутром, — и что делаю это, судя по тому, как устали челюсти, уже очень, очень давно.

Часть вторая. Набат

Она приехала через три дня — сама, никого не спросив и никому не сказав.

Автобус на побережье ходил дважды в неделю, и Тормод привёз её от остановки на своём тархтящем драндулете вместе с ящиком чиненых мною раций. Высадил у калитки, кивнул на неё бородой и посмотрел на меня долгим взглядом, каким смотрят, когда решают, что уж теперь-то с головой у отшельника всё окончательно ясно. Девочка стояла на ветру — тонкая, в городской курточке совсем не по здешней погоде, с рюкзаком, из которого торчал белый провод зарядки, как не втянутая до конца пуповина. И была так похожа на Иону в детстве, что у меня перехватило горло и на секунду отнялся язык. Те же тёмные брови вразлёт. Та же привычка держать подбородок чуть выше, чем удобно, — заранее, впрок, будто готовясь спорить со всем светом.

— Отец знает, где ты? — спросил я вместо «здравствуй».

— Думает, я ночую у подруги. — Подбородок поднялся ещё на палец. — У меня трое суток, потом он позвонит её матери, и всё вскроется. Так что не трать эти трое суток на «немедленно поезжай домой», ладно? Я их потратила, чтобы добраться. Обратно тем же автобусом.

Под левой её ключицей, я знал теперь, лежала коробочка размером с монету и день и ночь стерегла неверное сердце. И я её слышал. Стоя в двух шагах, на ветру, сквозь плеск воды под обрывом, я слышал слабый, чистый, безупречно ровный импульс — тик... тик... тик, — как метроном под тонкой тканью; и слышал, как между его тиками её собственное сердце нет-нет да и оступалось, сбивалось, а коробочка тут же ловила его, подхватывала под локоть и ставила обратно в такт. Живой человек на честном слове инженера. У меня свело зубы от нежности и от ужаса, и эти двое во мне — нежность и ужас — с той минуты уже не расходились.

— Есть хочешь, — сказал я. Не спросил. И повёл её в дом, из дверей которого двенадцать лет не выпускал никого, кроме дыма.

✱

Мы прожили вместе полтора дня, и это были самые странные полтора дня моей жизни — потому что впервые за все годы рядом со мной был кто-то, кому не надо было ничего объяснять.

Она ходила по избе, трогала мои инструменты, не спрашивая, задавала вопросы, каких мне никто не задавал, потому что все остальные боялись ответов. Правда, что ты слышишь бурю за день? А войну услышал бы? А как это — звук или больно? Я отвечал коротко и, к своему удивлению, честно. Не звук. И не больно, если не сопротивляться; больно становится, когда упираешься, когда затыкаешь уши плечами, как всю жизнь делаю я. Она слушала, поджав ноги, в моём старом свитере, накинутом поверх куртки, и кивала так, будто сверяла мои слова со своими, и они сходились.

— У меня похоже, — сказала она. — Только не костью. У меня сердцем. — Она положила ладонь на грудь, туда, где коробочка. — Оно первым знает. Раньше меня. Раньше всех приборов в больнице, а они дорогие. Врач смотрит на свой экран и говорит: всё спокойно, деточка. А у меня уже вот тут... — она сжала кулак, — ...тянется. И через минуту его хвалёный экран догоняет. — Она подняла на меня глаза, и в них была не жалоба, а какая-то злая, взрослая ясность. — Так кто из нас двоих прибор, дядя Эли? Я — или его коробка?

Я не нашёлся, что ответить, потому что ответа не было, а был только стыд — за всех, кто когда-нибудь говорил такому вот ребёнку «тебе кажется».

Про отца она говорила мало и через силу, будто выкладывала на стол монеты, которых жалко. Что он хороший. Что он вечно на работе, спасает мир по телевизору. Что после развода он растит её один и растит так, как строят мост, — по чертежу, крепко, надёжно, из лучшего материала, только вот забывая иногда, что мост — это она, а не расчёт. Что бабушку Иду он запретил поминать в доме, а Мия всё равно тайком звонит ей с чужого телефона, потому что

бабушка — единственная, кто говорит с ней как с равной. Про меня, дядю, она до этого года и не знала — так, что где-то на севере есть у отца брат-близнец, которого не показывают на фотографиях.

— Вы поругались, да? — спросила она. — Ты, папа и бабушка. Все трое.

— Не поругались. — Я подбирал слова, как подбирают на ощупь в темноте. — Просто в один день перестали слышать друг друга. А когда перестаёшь слышать — уже неважно, кто громче кричит.

Она подумала над этим серьёзно, по-взрослому.

— Плохо, когда близнецы не слышат, — сказала она наконец. — Вы же... одинаковые. Так глупо. Это как если бы правая рука перестала слышать левую.

Я промолчал. Она не знала — да и я старался не знать, — насколько близко к самой кости она угодила этими словами. Правая рука и левая. Одинаковые до зеркальности.

Она не могла знать, что это уже однажды проверили — приборами, при свидетеле. Нам было восемь. Мать, отчаявшись понять, что за звон мучает младшего из сыновей, посадила нас в кухне лицом к лицу, лоб ко лбу, и велела обоим слушать разом. И мой вечный звон впервые в жизни умолк. Начисто. Я заплакал от этой тишины, не понимая, что так бывает. А мать смотрела не на нас — на приборы. Все стрелки в доме легли. Компас на полке перестал дрожать и замер, указывая в никуда. Радио, вечно хрипевшее помехами, стихло до чистой несущей. На три шага вокруг нас двоих мир на несколько секунд сделался магнитно нем — будто кто-то вырезал в поле маленькую круглую дыру тишины. Мать записала это дрожащей рукой и не показала потом никому: двое мальчишек, лоб в лоб, погасили над собой кусок неба. А я вырвался с криком — та тишина была страшнее звона, в ней я переставал знать, где кончаюсь я и начинается он. Больше мы так не садились никогда. Но круглую дыру тишины, которую мы вдвоём вырезали в тот день, я не забыл: всю жизнь бежал от неё — и всю жизнь по ней тосковал.

Я отвернулся к печи и стал шевелить угли, которые не надо было шевелить.

✱

На второй день мне пришлось ехать в посёлок — за соляровкой, и потому что тянуть было нельзя: я всё-таки решил позвонить Ионе. Не с моего домашнего — оттуда я боялся, боялся, что дом мне этого не простит. С почты, из посёлка, где линия, где можно кричать в трубку чужие, тяжёлые слова, не тревожа хрупкую немоту мыса. Мия увязалась. Сказала, что если я оставляю её одну на мысу наедине с собственным сердцем, она с тоски начнёт его слушать, а слушать своё сердце — это худшее, что человек может с ним делать.

Посёлок в тот день был полон. Пришёл сейнер с уловом, и у церкви на площади затеяли маленькую ярмарку — три лотка с вязаньем и копчёностями, гармонист, стайка детей вокруг лотка с леденцами. Обычная, тёплая, насквозь чужая мне жизнь, к которой я привык относиться как к погоде за стеклом. Мы стояли у крыльца почты, Мия ела горячую булку с корицей, канистры грелись у наших ног на солнце, и я — я почти успокоился. Почти поверил, на одну минуту, что можно просто жить.

А потом воздух натянулся.

Я узнал это за полтора вдоха до всех на площади. Успел только одно — положить ладонь девочке на плечо. Не чтобы защитит; защитит было нельзя, я это знал лучше всех живущих. А чтобы она в этот миг не была одна. И мир ударил.

Гармонь оборвалась на полуноте. И вся площадь — старухи у лотков, рыбаки с сейнера, дети, женщина с коляской, поп в дверях, — все, разом, как те овцы на моём склоне, повернули головы. На юг. За воду. К одной и той же пустой точке за горизонтом, где ничего, ничего не было. Не вздрогнули, не пригнулись, не вскрикнули — плавно, слаженно, с медленным сонным изяществом обратили лица туда, будто там кто-то один окликнул их всех сразу, поимённо, и все они этот зов узнали и на него отозвались. Секунду площадь так и стояла: толпа затылков,

обращённых ко мне, и толпа лиц, обращённых в никуда. Мальчик выронил леденец в пыль и повернул голову вслед за матерью, не заметив потери. Гармонист держал последнюю растянутую ноту, забыв опустить мех, и смотрел, смотрел на юг остановившимися глазами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.